

П. Е. ФОКИН

ПОЭМА «ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР» И ФУТУРОЛОГИЯ
ДОСТОЕВСКОГО

Достоевский не получил специального исторического образования, тем не менее в течение всей своей жизни он с пристальным вниманием следил за развитием русской и европейской исторической науки, был в курсе существовавших концепций и моделей, живо интересовался научной полемикой, не оставаясь от нее в стороне, откликаясь на спорные вопросы истории в своих публицистических и художественных произведениях.¹ В личной библиотеке Достоевского мы находим множество сочинений, посвященных как общей истории человечества, так и частным аспектам жизни отдельных народов. Особенно много книг по истории христианской церкви, не только ее восточной ветви — православия, но и западноевропейских, в первую очередь католицизма.² Рецензии и разборы новых книг по истории постоянно появлялись в журналах «Время» и «Эпоха», издававшихся братьями Ф. М. и М. М. Достоевскими в 1861—1865 гг.³ Показательны в свете данной темы и сами названия журналов.

Интерес Достоевского к истории и исторической науке был обусловлен не только личными пристрастиями писателя, но и всей атмосферой интеллектуальной жизни России середины XIX в., всеобщим ощущением и ожиданием неизбежных социально-политических перемен, стремлением увидеть в прошлом и настоящем знаки грядущего. Вновь и вновь обратиться к осмыслению судеб человечества побуждали и новые открытия и гипотезы в области естествознания и социологии, в частности труды Ч. Дарвина и К. Маркса. Вполне в соответствии с духом эпохи история интересовала Достоевского главным образом как средство постижения будущего. К истории как к источнику колоритной, экзотической фактуры для произведений Достоевский оставался равнодушен. В его романах мы не найдем ни одной страницы, ни одного образа, которые можно было бы назвать

¹ Черепнин Л. В. Историческое мировоззрение Достоевского // Черепнин Л. В. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968. С. 146—182.

² Гроссман Л. П. Библиотека Достоевского // Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому: Материалы. Библиография и комментарий. М.; Пг., 1923; Десяткина Л. П., Фридендер Г. М. Библиотека Достоевского (Новые материалы) // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1980. Т. 4. С. 253—271.

³ Хронологическая роспись журналов «Время» и «Эпоха» // Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха» 1864—1865. М., 1975. С. 233—260.

историческими в узком, жанровом понимании этого слова. Но зато в каждом из них мы находим впечатляющие фантастические картины или далекого прошлого («золотого века»), или, чаще всего, возможного будущего. Правомерно было бы даже говорить более не о Достоевском-историке, сколько о Достоевском-футурологе.

Актуальность футурологического аспекта историко-философских размышлений Достоевского была продиктована, с одной стороны, активно утверждавшими себя в то время социалистическими идеями, марксизмом, провозгласившим возможность и необходимость управления ходом истории на основе объективных законов социально-экономической жизни; а с другой — столь свойственным русскому народу ожиданием конца света, в котором Достоевский усматривал одну из фундаментальных черт русской ментальности. Как пишет современный исследователь этой проблемы, «апокалиптичность по Достоевскому, — черта национально-русская, обязательная принадлежность русского национального мира».⁴ Эти же две силы определили характер и содержание того взгляда на будущее человечества, который мы обнаруживаем в произведениях Достоевского. Ими же обусловлен и жанр, в котором этот взгляд находил свое воплощение, — фантастическая новелла или картина утопического или антиутопического характера.

Художественный мир Достоевского отличается удивительная целостность и завершенность. При том что Достоевский никогда сознательно не стремился к построению какого-либо сверхроманного космоса (известны факты, когда писатель забывал содержание своих предыдущих произведений или даже по-разному называл одного героя в начале и в конце романа), он, этот космос, несомненно существует, и его ощущает каждый, кто соприкасается с литературным наследием Достоевского. Раскольников немислим не только без Сони Мармеладовой, Свидригайлова, Порфирия Петровича и других персонажей «Преступления и наказания», но он немислим и без князя Мышкина, без Ставрогина, Версилова, братьев Карамазовых. Точно так же вступают во взаимодействие и образуют единый комплекс историко-философские пророчества, сны и видения героев Достоевского о судьбах человечества.

Перечислю те фрагменты, о которых идет речь: описание Лондона в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863), монолог «Парадоксалиста» в «Записках из подполья» (1864), эсхатологические ожидания Мармеладова и сон-кошмар Раскольникова в «Преступлении и наказании» (1866), толкования Апокалипсиса Лебедевым на дне рождения у князя Мышкина в «Идиоте» (1868), теория Шигалева в «Бесах» (1871), сон Версилова о «золотом веке» в «Подростке» (1875), глава «Нечто о чертях» в «Дневнике писателя» (1876), «Сон смешного человека» (1877) и, наконец, две «поэмы» Ивана Карамазова — «Геологический переворот» и «Великий инквизитор» (1879—1880). К этому перечню необходимо прибавить еще картину Клода Лоррена «Асис и Галатея» и стихотворение Генриха Гейне «Мир», на которые указывает Версильов как на произведения,

⁴ Ермилова Г. Г. Тайна Князя Мышкина: о романе Достоевского «Идиот». Ивово, 1993. С. 64.

наиболее полно воспроизводящие его видения («В Дрездене, в галерее, — говорит он, — есть картина Клода Лоррена, по каталогу — „Асис и Галатея“; я же называл ее всегда „Золотым веком“, сам не знаю почему. <...> Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то бль», 13, 375, и «...замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, „Христа на Балтийском море“, 13, 379). «Великий инквизитор» играет в этом ряду исключительную роль. «Поэма», как купол, венчающий храм, организует единство всего ансамбля.

Никакая футурология невозможна без четкого представления о современности. Концепция настоящего сложилась у Достоевского практически с самого начала и в «Великом инквизиторе» нашла свое художественное завершение. Формула настоящего была найдена уже в «Зимних заметках о летних впечатлениях» в описании Лондона и всемирной выставки: «Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся» (5, 70). Как «какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся», понимает современность и Лебедев, видящий в сети железных дорог, опутавших Европу, символическую «звезду Полюнь», замутнившую «источники жизни». При этом Лебедев тонок и отнюдь не наивен. Железные дороги — это лишь образ, представляющий направление, которое Лебедев определяет также через библейскую символику как «стук телег, подвозящих хлеб голодному человечеству» (8, 312). Но именно о хлебе насущном и о власти, которую обретает тот, кто обеспечивает «голодному человечеству» «стук телег, подвозящих хлеб», свидетельствует и пророчествует Великий инквизитор душей севильской ночью в середине XVI в. «Знаешь ли Ты, — говорит инквизитор своему Пленнику, — что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. „Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!“ — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня...» (14, 230). Перенесение действия «поэмы» в XVI в. позволяет Достоевскому создать необходимую временную дистанцию, дать пророчеству исполниться. Современность, по Достоевскому и согласно «поэме», — это начало Конца, самый ответственный момент в истории человечества, когда ему предстоит одно из самых серьезных и суровых испытаний — испытание антихристом. Надо отметить, что подобная концепция настоящего легла в основу художественного мира романа «Бесы».⁵

«Поэма» Ивана Карамазова венчает собой непрерывный спор веры и неверия, который заочно ведут между собой все герои Достоевского и который и определяет всю футурологию Достоевского. В зависимости от того, верует герой или нет, мы находим у Достоевского два типа видения окончания судеб человечества. Для первых в

⁵ См.: Сараскина Л. И. «Бесы»: роман-предупреждение. М., 1990; Ермилова Г. Г. Тайна Князя Мышкина...

конце концов — Свет Христовой Истины, для вторых — мрак, бесовство и «антропофагия».

Так, слабый и безвольный Мармеладов верует: «...пожалее нас Тот, Кто всех пожалел и Кто всех и вся понимал, Он единый. Он и судия. Придет в тот день и спросит: „А где дочь, что матеке злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дочь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?“ И скажет: „Прииди! Я уже простил тебя раз!.. Простил тебя раз... Прощаются же и теперь грехи твои мнози, за то, что возлюбила многа...“. И простит мою Соню, я уж знаю, что простит... Я это давеча, как у ней был, в моем сердце почувствовал!.. (Замечательно это «знание сердца». — П. Ф.) И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смиренных... И когда уже кончит над всеми, тогда возлаголет и нам: „Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!“ И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: „Свиньи вы! образа звериного и псачи его; но приидите и вы!“ И возлаголят премудрые, возлаголят разумные: „Господи! почто сих приемлеш?“ И скажет: „Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...“. И прострет к нам руце Свои, и мы припадем... и заплачем... и все пойдем! Тогда все пойдем! и все поймут <...> Господи, да приидет Царствие Твое!» (6, 21). Верующий вопреки всему исполнен оптимизма, ибо как бы низко он ни пал, но и для него хватит любви Христовой. Совсем иные видения одолевают «премудрого» и «разумного», но безверного Раскольникова. Пока сердце его молчит, мозг его терзается безобразными кошмарами. Воистину: сон разума рождает чудовищ!

В «Преступлении и наказании» разделение двух перспектив, ожидающих человечество, по героям — их носителям достаточно определено. Далее в своем творчестве Достоевский доверит «мечты о будущем» героям, в которых вера и неверие будут вести постоянную борьбу. Шигалев, Версилов, Смешной, Иван Карамазов — персонажи отнюдь не однозначные. Их сомнения определяют сложность и глубину их футурологических видений. А что же сам автор? Можно ли в данном случае сказать вслед за Г. С. Померанцем, что «практические эксперименты героев — это интеллектуальные эксперименты автора»?⁶

Читая Достоевского, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой интерпретации высказываний его героев в плане степени их протагонизма, того, в какой мере выражают они взгляды автора. В отношении Достоевского это — самый сложный и до сих пор дискуссионный вопрос. Не помогает даже такой, казалось бы, стопроцентный метод, как сопоставление высказываний героев с публицистическими заявлениями писателя: Достоевский никогда буквально не повторяет своих слов в речах героев и наоборот; всегда есть некий речевой сдвиг, который вносит изменение, не позволяющее однозначно решить эту проблему. «Таково хитроумие этого писателя: он

⁶ Померанц Г. С. Открытость бездне: Встречи с Достоевским. М., 1990. С. 183.

не дает поймать себя на слове», — пишет академик С. С. Аверинцев и замечает далее: «„Кто говорит?“ Ох, этот вопрос! Почти всегда кто-то из персонажей, а не сам автор отвечает за высказывание: в противоположность Толстому и Солженицыну, Достоевский избегает прямых дидактических вторжений „в первом лице“. Но проблема бесконечно сложнее, поскольку и „голос“ этого говорящего персонажа в каждый момент оказывается открытым для проникновения других, чужих „голосов“. Идентичность говорящего не остается неоспоримой, она вписывается в общую „полифоническую“ конструкцию, где каждый из „голосов“ отражает другие и сам отражается в них, как зеркало среди зеркал». ⁷ Понять смысл этих «отражений», как мне представляется, можно, внимательно присмотревшись к тому, как эти зеркала расставлены, иными словами, обратиться к композиции произведения (или конкретного эпизода), к системе образов, выйдя тем самым из зоны звучания «голосов».

Футурологическая концепция Шигалева в «Бесах» очень логична и убедительна, она, кстати, вполне адекватна идеям Великого инквизитора. «Он предлагает, в виде конечного разрешения вопроса, — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятками. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать» (10, 312). Шигалев изложил свою теорию в десяти тетрадах, наверняка с не меньшим искусством и красноречием, чем Великий инквизитор, и уж конечно он не употребил таких выражений и слов, как «две неравные части», «потерять личность», «стадо». Прочитанное изложение теории Шигалева принадлежит не ему, а учителю, который знаком с его взглядами. Однако сам факт возможности создания «краткого курса» «шигалевщины», циничного и бескомпромиссного, ставит под сомнение ее верность. Интересен и автор этого краткого резюме теории Шигалева. О нем практически ничего не известно, он появляется в романе только в этом эпизоде, но Достоевский наделяет его двумя важными качествами, имеющими вполне однозначную семантику. Во-первых, «это была сильная губернская голова» (10, 314). А во-вторых, он хромым (Хроникер для краткости очень часто сокращает словосочетание «хромым учителем» до простого определения «хромым»). Иными словами, признаки из ряда inferнальных. Хромым в «Бесах» не только озвучивает теорию Шигалева, но и оценивает ее, одобряет ее. Однако похвала беса — сомнительная похвала. Все это от лукавого, как бы говорит Достоевский, призывая читателя быть бдительным. И действительно в «поэме» Ивана Карамазова футурология а-ля Шигалев будет уже прямо отнесена по ведомству сатаны.

Предсказания Шигалева дискредитируются и тем, что сам их создатель в итоге своего исследования пришел к «отчаянию» (10, 311). Слово «отчаяние» применительно к Шигалеву и его теории звучит в отрывке, занимающем в романе всего полстраницы, с е м ь раз. Такая

⁷ Аверинцев С. С. Точка зрения «адвоката дьявола» // Искусство кино. 1994. № 4. С. 5.

частотность однозначно указывает на принципиальную важность этого понятия для оценки труда Шигалева. Нельзя забыть этого семикратного отчаяния и при чтении речей Великого инквизитора. Отчаяние бессильно и бесплодно. Не случайно Петр Верховенский пренебрежительно замечает: «...по-моему, все эти книги, Фурье, Кабеты, все эти „права на работу“, шигалевщина — все это вроде романов, которых можно написать сто тысяч. Эстетическое препровождение времени» (10, 313). Петр Верховенский провокатор, и его реплика имеет двойное звучание в контексте всего разговора «у наших», но ее отрицательный пафос ставит окончательный крест на прогнозе Шигалева. Если уж он не выдерживает критики «мелкого беса» Верховенского, то как же должен отнестись к нему читатель романа.

И все же логика в созданной Шигалевым теории есть. «Он, может быть, — замечает хромым, — менее всех удалился от реализма» (10, 313). История XX в. убеждает нас в том, что это действительно так. Но история нашего века убеждает нас и в ином, а именно: в правоте не только Шигалева, но и в правоте Достоевского, который не принимал категоричности шигалевской футурологии, его убеждения, что «все, что изложено в моей книге, — незаменимо, и другого выхода нет; никто ничего не выдумает» (10, 311). Достоевский убежден, что логика Шигалева при всей своей убедительности не приводит тем не менее к окончательным итогам. Ибо, по убеждению писателя, логике разума противостоит алогизм сердца. Теории Шигалева в космосе романов Достоевского противостоят сон, грезы, фантастические видения Версилова в «Подростке».

«Откровение» от Версилова происходит совсем в иной обстановке, нежели споры вокруг идеи Шигалева. Вместо тайного собрания заговорщиков в «Бесах», в «Подростке» — это встреча отца и сына. Более того, не просто встреча, а породнение. Аркадий Долгоруков — внебрачный сын Версилова; после смерти его формального отца Макара Долгорукова Версилов решает узаконить свои отношения с матерью Аркадия и таким образом прервать многолетнюю ложь и фальшь «случайного семейства», возродить семью. В понимании Достоевского это знак духовного здоровья героя, его нравственной силы. Версилов «дарит» Аркадию свои «мечты о будущем» — это самое дорогое, что у него есть. В момент своего рассказа Версилов преисполнен любви и счастья. Такой герой не может ошибаться. В восторженном и любящем сердце больше правды, чем в трезвом и холодном уме.

«Я не мог не представлять себе временами, как будет жить человек без Бога и возможно ли это когда-нибудь, — говорит Версилов. — Сердце мое решало всегда, что невозможно; но некоторый период, пожалуй, возможен... Для меня даже сомнений нет, что он настанет; но тут я представлял себе всегда другую картину...» (13, 378). Версилову представлялось, что когда последний бой человечества против Бога завершится и люди наконец останутся «одни, как желали» (Там же), тогда эти люди вдруг почувствуют глубокое душевное родство и возлюбят друг друга больше, чем себя. «Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они сделались бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали

бы друг друга, как дети» (13, 379). Вот тогда бы и вернулся бы на землю Христос. «...замечательно, — восклицает Версиров, — что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, „Христа на Балтийском море“. Я не мог обойтись без Него, не мог не вообразить Его, наконец, посреди осиротевших людей. (Очень важно обратить внимание на это «не мог обойтись», свидетельствующее о силе «логики сердца», которая и подсказывает Версирову его образ. — П. Ф.). Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил: „Как могли вы забыть Его?“ И тут как бы пелена упала со всех глаз и раздавался бы великий восторженный гимн нового и последнего воскресения...» (13, 379).

Единственный и очень пристрастный слушатель Версирова Аркадий сразу же после приведенных слов пишет: «Но я был даже растроган; лжи, которой я опасался, не было, и я особенно рад был тому, что уже мне ясно стало, что он действительно тосковал и страдал и действительно, несомненно, много любил — а это было мне дороже всего» (Там же). Но это же «дороже всего» и Достоевскому.

Версиров говорит о «последнем воскресении» столь же категорично, как Шигалев о неизбежности движения истории по пути, исчисленному им. Но в данном случае категоричность героя — это категоричность самого Достоевского. Свидетельство тому — «поэма» «Великий инквизитор».

Что бы ни говорили мы об Иване Карамазове — авторе «поэмы», как бы мы его ни судили, мы не можем обойти стороной тот факт, что «Великий инквизитор» рассказан им в ситуации, схожей с той, в которой Версиров поведет Аркадию о своих оптимистических надеждах на будущее человечества. Как и Версиров, Иван испытывает редкостный для него эмоциональный подъем, он, как и Версиров, на пути духовного выздоровления: он как бы вновь породняется со своим братом Алексеем, а такое породнение что-нибудь да значит. Ивану еще предстоит суровое испытание, но в этой сцене он движим самыми лучшими чувствами, хоть и пытается их стыдливо скрыть за циническими формулировками и позой нигилиста. Его «поэма» — это самое заветное и дорогое, чем он может поделиться с братом. Она зародилась в его уме, но после уже прошла через сердце и явилась такой, какой мы ее знаем. Иван и без Алеси знает, что его «поэма» «есть хвала Иисусу, а не хула» (14, 237), потому и не возражает брату на это замечание.

Так традиционно сложилось, что, говоря о «Великом инквизиторе», главное внимание уделяют монологу Великого инквизитора. Это и понятно: его речь даже по объему своему занимает в «поэме» центральное место. Но не забудем, как сложно интерпретировать речь героев Достоевского. А речь Великого инквизитора не то что двойна — она утраивается, умножается многократным эхом. На это обратил внимание один из первых интерпретаторов «поэмы» Ивана замечательный русский философ В. В. Розанов: «Душа автора, очевидно, вплелась во все удивительные строки <поэмы> ..., лица перемешиваются перед нами, сквозь одно из-за другого, мы забываем говорящее лицо (т.е. Ивана. — П. Ф.) за Инквизитором, мы видим даже не Инквизитора, перед нами стоит Злой Дух, с колеблющимся

и туманным образом, и, как две тысячи лет назад, развивает свое искусительное слово, так кратко сказанное тогда».⁸ Думается, и при анализе «поэмы» многое мы сможем понять, попытавшись выйти из зоны звучания «голосов» в область композиции и общей структуры «поэмы».

Кстати, замечательно, что Достоевский заставил своего героя сочинить именно «поэму», а не трактат, публицистическую книгу или статью. Правда, «поэма» эта совершенно необычная. Абсолютно очевидно, что она выросла из статьи. Речь инквизитора, возможно, первоначально оформилась в виде статьи, как оформилась в статью теория Раскольникова, в книгу — теория Шигалева. Но потом произошло нечто, что в корне изменило содержание и жанр замысла Ивана. Что это было, останется для читателей навек загадкой. Может быть, сон о «золотом веке», как у Версирова, пробудивший в нем «всечеловеческую любовь» (13, 375), или что-то еще, но стройная и хитроумная логика рассуждений была нарушена вторжением абсурдного, алогичного и в то же время величественного и мощного, чему Иван не мог противостоять, как не мог обойтись без Христа, сходящего к осиротевшим людям, Версиров. Это нечто явилось Ивану в образе Христа, целующего Своего палача. Собственно именно этот поцелуй и создает «поэму».

Безмолвный поцелуй Христа исполнен необычайной силы. В одно мгновение он разрушает адскую уверенность инквизитора в его абсолютном могуществе. Еще звучит в стенах темницы эхо «окончательного» приговора инквизитора: «Завтра сожгу тебя» (14, 237), а он уже «идет к двери, отворяет ее и говорит Ему: „Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!“» (14, 239). И Пленник уходит. Что так смутило старца и заставило его изменить свой приговор? В чем логика его поступка? Ведь именно логике подчинено все его поведение, вся его почти вековая жизнь. В ответе на эти вопросы — суть замысла Достоевского, его приговор Великому инквизитору.

По убеждению инквизитора, великая сила, позволяющая властвовать над всем человечеством, заключена в «чуде, тайне и авторитете». Вспомним теперь, чему свидетелем он был в день накануне своего разговора с Пленником. Вот в его епархии появился Иисус: «Он появился тихо, незаметно, — рассказывает Иван, — и вот все — странно это — узнают Его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают Его. Народ неподвижимо силой стремится к Нему; окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди их с тихой улыбкой бесконечного сострадания» (14, 226—227). Но что же иное представлено здесь нам, как не тайна? Достоевский подчеркивает это репликой Ивана о том, что это «могло бы быть одним из лучших мест поэмы», но как это «могло бы быть», Иван не разъясняет. Да он и не может разъяснить, ибо это невозможно. Тайна только тогда и тайна, когда она невыразима на языке человеческом. Думаю, что «поэму» Иван не смог написать не столько из-за того, что не умел стихи составлять,

⁸ Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского: Опыт критического комментария // Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 135.

сколько от бессилия художественно разрешить эту, одну из центральных для его поэмы сцену.

Читаем дальше: «Народ плачет и целует землю, по которой идет Он. Дети бросают пред Ним цветы, поют и вопиют Ему: „Осанна!“ „Это Он, это Сам Он, — повторяют все, — это должен быть Он, это никто как Он“» (14, 227). Можно ли представить более яркую картину воплотившегося авторитета? Наконец, Он одним словом воскрешает мертвую девочку: «Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которыми она лежала в гробу» (Там же). Это ли не чудо?

Чудо, тайна и авторитет — все это присуще Иисусу, ибо Он Бог, потому и бессилён был соблазнить Его «страшный и умный дух» (14, 229), ему попросту нечем было соблазнять Христа. Совсем другое дело простой смертный, каковым является инквизитор. Он и соблазнился, угодив в тенета сатаны. Ведь, исповедуя «чудо, тайну и авторитет», Великий инквизитор на самом деле реально из них не обладает. Свою тайну он открывает своему Пленнику, называя ее, но если она выразима человеческими словами, то это уже не тайна, это секрет, загадка для непосвященных, но не тайна. Это имитация тайны. Его авторитет держится на насилии, на кострах инквизиции, пламенем своим свидетельствующих о наличии сотен и тысяч еретиков — людей, не согласных с авторитетом Великого инквизитора, не признающих этого авторитета. По сути дела, авторитета, так же как и тайны, нет, есть лишь его имитация. А в неспособности совершить чудо инквизитор признается сам: «Получая от нас хлеба, — говорит он, — конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлеба, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлеба, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших!» (14, 235. Разрядка моя. — П. Ф.). Оказывается, что все слова Великого инквизитора попросту самообман, притом той же природы и качества, что и самообман Раскольникова, позволяющий переименовать преступление в подвиг, однако не делающий преступление подвигом. Это-то и мучает инквизитора, заставляет его так много и так страстно говорить.

Впрочем, это не самое главное, что угнетает инквизитора. В конце концов, он мог бы смириться с тем, что «чудо, тайна и авторитет» Христа подлиннее и могущественнее его «чуда, тайны и авторитета», признает же он сейчас над собой главенство «страшного и умного духа». Мучает и раздражает инквизитора то, что Христос вовсе не использует власти «чуда, тайны и авторитета», и не за то поклоняется Ему народ. Сила Христа действительно не в «чуде, тайне и авторитете», а в Его любви и сострадании к человечеству. Он любит всех и каждого в отдельности: здорового и больного, зрячего и слепого, богатого и бедного. Он любит даже и Великого инквизитора, зная наперед, что тот Ему скажет: «Завтра сожгу Тебя». Своей любовью Он всех примиряет и объединяет. Его любовь и есть подлинное чудо, тайна и авторитет.

Великий инквизитор, как пушкинский Германн из «Пиковой дамы», все поставил на «три верные карты» — «чудо, тайну и ав-

торитет». И, как пушкинский Германн, все проиграл. Оказалось даже, что не только сами карты неверны, но и путь, выбранный для достижения заветной цели, ложен. Не «с ним», со «страшным и умным духом» нужно было идти, а оставаться со Христом, вопреки любым доводам, любой логике.

Кто же на самом деле пленник, а кто судия? Вопрос риторический. Но Достоевский даже и в этом случае не желает оставлять чего-нибудь непроясненным. Замечателен финал «поэмы». Ситуация после поцелуя Христа кардинально меняется. Двери темницы растворяются, и Христос выходит на «темные стогна града» (14, 239). А инквизитор? Он остается внутри темницы. Пленник ли он? Двери тюрьмы открыты. Но сделать шаг к двери — значит последовать за Христом, пойти по Его пути, расстаться со «страшным и умным духом». Сделает ли этот шаг старик? Об этом Иван Карамазов не знает: «Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее». Но Достоевский знает, ибо иного пути из темницы нет. В финале «поэмы» звучит оптимистическая нота из «Эпилога» «Преступления и наказания», вера в то, что «тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новым, доселе совершенно не ведомою действительностью» (6, 422). Символизм финала «Великого инквизитора» очевиден, и он непосредственно указывает на убежденность великого русского романиста в окончательной победе добра и любви в человеке и в истории человечества.

Подводя итог всему, можно сказать, что концепция исторического процесса сложилась у Достоевского к началу 60-х гг. под несомненным влиянием книг Нового Завета. Никогда не подвергая сомнению Откровение Иоанна Богослова, писатель в фактах исторической действительности, к которым он относил не только события, но и рожденные человечеством идеи, стремился увидеть подтверждение конкретных пророчеств апостола. По сути, вся историософия и футурология Достоевского опирается на текст Апокалипсиса и представляет собой его толкование. Загадочные образы Откровения постоянно беспокоили его воображение, и он все время пытался приблизиться к их смыслу. В «Великом инквизиторе» Достоевский дал последнее свое толкование евангельских тем и сюжетов, и, возможно, оно является одним из наиболее близких к истине: путь человечества через искушение царством антихриста лежит в Царствие Христово.

Всем своим творчеством Достоевский стремился предупредить человечество о ждущих его испытаниях и помочь выработать стратегию, а в публицистике своей — и тактику противостояния последним искушениям, тем самым облегчить и ускорить наступление нового «золотого века», того счастливого времени, когда все станут свидетелями и участниками того события, что увидел внутренним взором лирический герой Гейне и о котором поведал в стихотворении «Мир» поэт:

... я видел Христа,
Спасителя мира.
В легких белых одеждах,
Огромный, Он шел
По земле и воде;
Голова Его уходила в небо,
А руки благословляли
Земли и воды;
Сердцем в Его груди
Было солнце,
Красное, пылающее солнце,
И это красное, пылающее солнце-сердце
Лило вниз благодатные лучи
И нежный, ласковый свет,
Озаряя и согревая
Земли и воды.

Плыл торжественный звон,
И, казалось, лебеди в упряжи из роз
Тянули скользящий корабль,
Тянули к зеленому берегу,
Где в высоковозносящемся городе
Живут люди.
О, чудо покоя! Какой тихий город!
Не слышно глухого шума
Говорливых тяжелых ремесел,
И по тихо звенящим улицам
Бродят люди, одетые в белое,
С пальмовыми ветками в руках,
И, когда встречаются двое,
Глядят с сочувствием друг на друга,
И, трепеща от любви и сладкого самоотречения,
Целуют друг друга,
И глядят вверх
На солнечное сердце Спасителя,
Миротворно и радостно льющее вниз
Красную кровь,
И, трижды блаженные, восклицают:
«Хвала Иисусу Христу!»⁹

⁹ Гейне Г. Мир / Пер. с нем. П. Карпа // Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1956. Т. 1. С. 162—164.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЯ К СПИСКУ НЕСОХРАНИВШИХСЯ И НЕНАЙДЕННЫХ ПИСЕМ ДОСТОЕВСКОГО*

129 а. Н. Л. ТИБЛЕНУ

Между 23 сентября и 3 октября 1861. Петербург

Упоминается в ответном недатированном письме Н. Л. Тиблена: «Милостивый государь Федор Михайлович! Еще пять-шесть подписей прибавить. Проволочки я опасюсь потому, что фонд, зная о намерении подать заявление, может сделать какие-нибудь распоряжения, и нам ответят, что мы „суемся в воду, не спросившись броду“. Писемский, разумеется, не подписал. Сказал посланному, что желает предварительно видиться со мною. Но так как мне нет времени разъезжать по городу, то я полагаю обойтись и без его подписи. Сообщаю все это в ответ на вашу записку и прошу принять уверение в истинном моем уважении. Н. Тиблен» (ИРЛИ, Р. 1, оп. 6, № 173).

Установленная предположительно в «Описании рукописей Ф. М. Достоевского» (М., 1957. С. 494) дата письма Тиблена: «1863, первое полугодие» не верна по двум основаниям. Во-первых, упомянутый им Писемский с января 1863 г. живет в Москве; во-вторых, с 2 февраля 1863 г. по 10 мая 1865 г. Достоевский является членом Комитета общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературный фонд), а в письме себя и Достоевского Тиблен противопоставляет руководству «фонда».

Датируем письмо Н. Л. Тиблена (и, соответственно, «записку» Достоевского) 1861 г., так как по содержанию оно примыкает к двум другим аналогичным запискам Тиблена к Достоевскому от 3 и 4 октября 1861 г. (см.: Русская литература. 1975. № 3. С. 161—162), где также обсуждаются вопросы, связанные с организованным по инициативе братьев Достоевских сбором подписей под заявлением группы писателей и ученых в Комитет Литературного фонда (подробнее об этом см.: Заборова Р. Б. Ф. М. Достоевский и Литературный фонд // Там же. С. 164—170; текст заявления см.: 282, 347). Данными о каком-либо ином совместном сборе подписей Тибленом и Достоевским биографы писателя не располагают. В конце записки от 4 октября Тиблен приписывает: «...извините, что мне так часто приходится отрывать Вас от дела своими записками» (Русская литература. 1975. № 3. С. 162).

Заявление было составлено братьями Достоевскими и Н. Л. Тибленом 23 сентября 1861 г. Из записки от 4 октября следует, что вечером 3 октября, получив еще три подписи — М. П. Розенгейма, М. И. Семевского и В. В. Пеликана, Тиблен через Н. Л. Лаврова передал заявление в Комитет Литературного фонда: «Я рассчитываю видеть Лаврова очень скоро и узнаю, какое впечатление произвела подача заявления на Комитет», — пишет он Достоевскому (Там же). На этом основании «записку» Достоевского к Н. Л. Тиблену датируем в интервале между 23 сентября и 3 октября 1861 г.

* Подготовил Б. Н. Тихомиров.